

Я обратил их внимание. Но я протестовал один. У вас скоро будут товарки. С пятнадцатого на проверку будут работать четыре женщины. Одна здесь, другие — ниже. А ваш брат поднимается в красивый.

— Люсьен? Почему?

— Шеф, — сказал подошедший Мюстафа, — а я? Мне что подкинули?

— Тебе ничего, — засмеялся Жиль. — Дело хорошо то, что делаешь.

Арезки помрачнел. Он прицепился к Жилу, и они долго спорили. Машин проходили. Я ответила: «Не хватает зеркала».

— Ну и пусть, — сказал Арезки, возобновляя работу, — премия накрылась.

На четырнадцатый день была получка. Бернье принес конверты. Каждый прекращал работу на несколько секунд, чтоб проверить сумму. Некоторые обращались к Бернье с протестами. Он отсылал их к начальнику цеха.

Почему я не ушла тогда. Я не решалась потребовать у Люсьена долг. А от получки, если вычесть стоимость билета, оставалось только на несколько дней пропитания. В письмах к бабушке я говорила об экономии, зарплатах, приемнике... Ладно, поработаю еще две недели. Может, за это время Люсьен отдаст мне что-нибудь. Буду экономить...

В ожидании автобуса я думала обо всем этом. Получка, засунутая на дно сумки, меня разочаровала. Столько усилий, так мало денег. Я вышла из очереди и пошла по бульвару к площади Итальян. Из такси вышла женщина. Я подбежала к машине и рухнула на сиденье.

Огненные снопы моста Насьональ, заводские трубы, преобразованные заревом горизонта, Париж, открывающийся из пригорода, пожарные литейных заводов и гигантские цистерны, вспарывающие ночное небо, низкое, бархатистое, точно подвешенное на уровне фонарей. И всем этим я наслаждалась, сидя в такси, развалившись, мечтая, чтоб машина двигалась как можно медленнее, чтоб уличные пробки продлили этот праздник.

Вечером я разделась и помылась с ног до головы, надела ночную рубашку, шерстяную кофточку и устроилась на кровати. Я ощутила полное блаженство. Сурово подсчитала свои ресурсы. Это — на еду, это — за комнату. Пять тысяч франков я спрятала, положив начало сбережениям.

По утрам от шума и усталости у меня часто мучительно болела голова. Я купила аспирин и взяла за привычку часов в девять, когда затылок наливался тяжестью, проглатывать таблетку. Я купила также флакончик лаванды и время от времени вдыхала ее. Я сложила все это в картонную коробку, написала: «Э. Летелье» и спрятала ее в утюгочек.

Однажды утром Арезки отложил свои ин-

струменты и направился к пюпитру Бернье. Немного погодя он вернулся и продолжал закреплять болты, но лицо у него перекосялось. Мы никогда с ним не разговаривали. Мюстафа подошел ко мне и сказал:

— Он болен, не может работать.

— Пусть попросит разрешения выйти, пойдет в медпункт.

— Шеф не пустит.

— Что у вас болит? — обратилась я к маме Арезки.

— Голова. Я не вижу зеркал.

Я бросила машину и стала искать Бернье. Он как раз направлялся к нам.

— Мосье, — сказала я, — тут один рабочий заболел. Он не может работать.

— Кто? — спросил он с жизнерадостной улыбкой

— Тот, который ставит зеркала. Арезки.

— Ну и что? — спросил он весело.

— Ему бы надо пойти в медпункт.

— Конечно, все они хотя в медпункт. Раньше они просились в туалет. Не волнуется за него, мадемузель.

Он хлопнул меня по руке.

— Я больше не даю талонов на выход. Так приказано. За исключением несчастных случаев или уж если кто-нибудь грохнется на пол. Остальные — симулянты, жулики. Знаю я их.

— Но это бесчеловечно.

— Потше, потше, мадемузель Летелье, — сказал он, теряя улыбку. — Отправляйтесь на свое место, и пусть это вас не волнует.

Я вернулась на конвейер разозленная, наскоро проверила две машины и пошла искать Арезки. Он медленно прикручивал рычаги, а Мюстафа ставил вместо него зеркала.

— Вы все еще плохо себя чувствуете?

Мюстафа ответил утвердительно.

— Хотите таблетку? — прокричала я.

Арезки поднял голову.

— У вас есть?

Я принесла ему две таблеточки.

— У тунисцев есть молоко, — сказал Мюстафа. — Пойди...

Арезки взял таблетку и вылез из машины. Мюстафа заперел свою бордюр всего в нескольких местах и побежал к следующей машине, прикрутил зеркало, рычаги, кинулся к другой, стоявшей выше по конвейеру, чтоб приколотить уплотнитель.

Я проверила панель приборов, когда Арезки, наклонясь ко мне, сказал спасибо.

— Полечало?

— Нет, но скоро пройдет.

Попозже он подошел сказать мне, что стало лучше. В полдень он принес мне тампон, смоченный в бензине, чтоб вытереть пальцы. Я поблагодарила его, тронутая. Мы пожелали друг другу «приятного аппетита» и в конце дня — «всего доброго, до завтра».

У него было красивое суровое лицо, я перед ним робела. Он казался не таким молодым, как все остальные.

На следующее утро я нашла в своей коробочке рожок, завернутый в папиросную бумагу. Я позвала Мюстафу.

— Это ваш?

Он покачал головой и, так как я не поняла, сказал:

— Арезки положил для вас.

Арезки, по обыкновению, опережал меня. Когда мы встретились, я спросила его, как раньше Мюстафу:

— Это ваш?

— Нет, ваш.

Подходивший Мюстафа сказал мне:

— Это за вчерашние таблеткн.

— За таблеткн? Возьмите его обратно.

— За дружбу, — сказал Арезки, глядя на меня.

Я разделила рожок на три части и протянула по куску каждому из них.

— Спасибо, — сказал Арезки, — я не ем по утрам.

— А я ем, — сказал Мюстафа.

Его хищный взгляд рассмешил нас. Как раз в этот момент Жиль просунул голову в заднее окошко. Он удивленно поглядел на меня. Я смелась, подобрала свою планку и быстро встала. Но он уже ушел. Арезки заметил мое смущение.

Через несколько минут Мюстафа обратился ко мне:

— Мадемуазель Лиз, нет ли у вас еще таблеткн? У него тоже болит голова.

Это был Мадьяр. Говорить они не могли, но объяснялись жестами, понятными только для них двоих.

На следующий день я опять нашла в своей коробке рожок. Мюстафа, следивший за мной, поощрительно сказал:

— Ешьте, ешьте.

— Это опять?..

— Да, — сказал он.

Вылезая из машины, я столкнулась с Арезки.

— Послушайте... — начала я.

Но он, улыбаясь, покачал головой и не остановился.

Немного погодя я опять встретила с ним. Он обсуждал что-то с Мюстафой. Они говорили по-арабски, но мне показалось, что разговор идет обо мне.

Ближе к вечеру, когда я проверяла фары, я встретилась взглядом с Арезки, сидевшим на короточках внутри машины. Смутившимся, мы стали избегать друг друга, но ритм конвейера нас поневоле соединял.

Иногда по вечерам передо мной возникало лицо Арезки, это доставляло мне такую радость, что я часто думала о нем.

Мы не говорили друг с другом о себе. Предлогом для всех наших бесед был Мюстафа. Из робости мы предпочитали такой способ общения. Мюстафа совершал и говорил столько глупостей, что недостатка в сюжетах мы не испытывали. Да и много ли скажешь в гуле, когда приходится кричать, непрерывно перескакивая из машины в машину?

Каждое утро я находила в моей коробке какое-нибудь лакомство. Я не отказывалась, думая о радости, которую испытывал Арезки, когда покупал и клал свой подарок.

Я делилась с Мюстафой, нетерпеливо ожидавшим эту минуточку.

Однажды явился Доба и обвинил Мюстафу в том, что, плохо прибивая свои реборды, он рвет пластик на потолке машины. Мюстафа возражал, кричал, потом схватил Доба за воротник куртки. Тогда Арезки высочил из машины, оттянул Мюстафу от Доба. Арезки был явно недоволен. Он что-то говорил Мюстафе, угрожающе жестикулируя.

— Он обозвал меня ратомом!

— Ну и что? — спросил Арезки. — Ты не можешь слышать этого? А твой отец и мать, что приходится им выслушивать дома?

Я вmeshалась, сказала, что рабочий-раист, обызвующий другого ратомом, — это позор. Арезки засмеялся и покачал головой.

— Если ты этого не можешь вынести, — сказал он Мюстафе, — как ты вынесешь все остальное?

— Скажем профоргу, — предложила я.

Мюстафа сделал неприличный жест. Но мы уже потеряли слишком много времени и все принялись за работу.

— Снег пойдет, — сказал Мюстафа.

Он склонился к Мадьяру.

— Снег!

Тот поднял голову в мелких кольцах густых светлых волос. На прищавом красном лице была написана бедность, одиночество. Должно быть, его радует, когда Мюстафа с ним заговаривает.

Я влезла в машину, из которой выходил Арезки. Глядя в сторону, он бросил:

— Сегодня мой день рождения.

На несколько секунд я замерла от удивления, потом возобновила проверку. Мышцы, отказывавшиеся работать вначале, теперь подчинились мне, но стоило непредусмотренному движению вклинуться в механическую последовательность, скрежетали, как старая лебедка. Хороший рабочий контролирует каждый жест и не делает ни одного бесполезного. Ритм не допускает болтовни, и если хочешь перекинуться несколькими словами, приходится одно движение ускорить, другое пропустить. Это удается, однако, ценой потери темпа. Человек бросает тебе, вылезая из машины, «сегодня мой день рождения», и ты за-

бываешь о панели приборов, потом настагиваешь именинника в следующей машине и кричишь сквозь грохот молотов: «Поздравляю». Арезки поблагодарил меня улыбой. В этот момент раздалось улюлюканье, столь громкое, что оно покрыло гул моторов. Мы все замерли. Марокканец, Мадьяр и Мюстафа соскочили в проход. Арезки обернулся ко мне:

— Женщины.

По цеху шел Жиль в сопровождении четырех девушек. С конвейера несся вопль. Мюстафа жестикулировал, кричал, Арезки, смеясь, показал мне на него.

Когда группа прошла, все возобновили работу, но Мюстафа, в крайнем возбуждении, бегал взад-вперед, влезал, вылезал, наконец машина увезла его.

Через минуту он вернулся и бросился к Мадьяру.

— Красная женщина, — сказал он.

Его, казалось, не трогало, что он отстал.

Мюстафа схватил Арезки за руку.

— Тут женщина, вот тут. Проверяет замки.

Он восхищенно присвистнул.

— Прекрасно, — равнодушно сказал Арезки.

Мне его ответ доставил удовольствие. Энтузиазмом Мюстафы я была несколько раздосадована.

В обеснанный перерыв новенькие осматривали свои шкафы. Потом вышли пообедать. Остались только те, кто имел обыкновение перекусывать в раздевалке.

— Они ставят женщин на конвейер.

— Это не трудней остальных.

— Молоденькие.

— Подожди, увидишь, как они будут выглядывать через несколько недель.

— Поработают наверху, вместе с алжирцами.

— Они собираются поставить женщин всюду, кроме красильного цеха.

Люсьен работал уже четыре дня в красильном. Я его с тех пор не видела. Я быстро поела и вышла в надежде его встретить. Никого не было. Холодный туман прогнал всех с улицы. Может, он в кафе?

Вез десяти два я медленно направилась к цеху. Внимание, к счастью, было приковано к новеньким. Я увидела Люсьена. Он болтал с одной из девушек, которая поднималась по лестнице, держась за перила.

Я осклинула его, он живо обернулся.

— Я хотела поводить тебя, узнать, как твои дела. Тебя, говорят, перевели наверх.

— Дела идут, — вяло сказал он.

— Люсьен!

— Ну что еще?

— Когда я могу с тобой повидаться?

Казалось, он был раздосадован.

— Приходи в четверг вечером, — вздохнул он. — Анри должен мне кое-что принести.

Я добралась до своего участка. Мадьяр заты-

гивал потуже ремень. Арезки был уже на я. Четыре женщины прошли, держась под ру. Самая молодая была очень красива. Она напомнила мне Мари-Луизу. За ними следовал Мюстафа, сделавший себе великолепную прическу.

Во второй половине дня Арезки несколько раз сердился, потому что Мюстафа мешал им всем работать, шныряя туда-сюда.

— Поскольку сегодня мой день рождения, не пойдете ли вы вечером куда-нибудь со мной?

Я ничего не ответила. Он не отходил. Мадьяр извинился, что потревожил нас. Мы заметили, что стоим неподвижно на конвейере, и проскользнули вперед.

Три голоса спорили во мне. «Наконец-то», — говорил один. Другой возражал: «Как это? И где? А если люди...» А третий шептал: «Нет», — но то не был отказ. «Нет» выражало сомнение в том, что действительно случилось должное, о чем мечталось годами. Сквозняк предчувствием, этот голос говорил: «Погоди...»

— Ну? — спросил Арезки, обращаясь к Мюстафе, который прихрамывал.

— Ух, хороша, хороша. Но не подъедешь.

— Брось, — сухо сказал Арезки. — Французики не водятся со всякими бико¹.

Я приняла эти слова как вызов и, отвечая на него, спросила немного погоды:

— И сколько же вам исполняется?

— Тридцать один.

— Где ждать вас?

Он просиял. Спросил, какой дорогой я иду с завода, в каком районе живу. Но, не договорив, принялся работать, так как приближался Жиль. Он шел быстро, полы халата летели за ним.

Опускалась ночь, окна стали темными. Маленький марокканец опустил свой молоток и испустил «уф», потирая запястья. Арезки подошел ко мне, сделал знак, чтоб я слушала.

— Вы садитесь в автобус на углу? Там встретимся. Я влезу следом за вами, мы выйдем где-нибудь по дороге.

Я, наверно, продолжала проверять и после звонка. Какой-то рабочий, проходивший мимо, окликнул меня:

— Эй, вы, там, конец!..

В раздевалке была толкучка. Женщины приводили себя в порядок, громко разговаривая. Мимолетная радость, переменка. Винзу их уже ждало метро, дом, снова отчуждение, только в иной форме.

Я высматривала Арезки. Он еще не пришел. Я встала в очередь. Конец душевному покою. Теперь во мне бушевала буря, о которой я так долго мечтала. Неожиданно Арезки оказался рядом. Его вид удивил меня. На нем был темный костюм, белая рубашка, ни пальто,

¹ Презрительная кличка алжирцев.

ни какой-либо другой теплой одежды. Он молча встал позади, сообщившись мне подмигнув. Мимо нас прошел Лакдар, высокий алжирец, работавший на конвейере. Он окликнул Арезки.

— Ты куда это?

— Надо кое-что купить.

Наконец мы вошли в автобус, на площадке нас прижало друг к другу. Арезки не смотрел на меня. У Венсенских ворот нам удалось пройти вперед.

— Мы сойдем у ворот Лила, хорошо? Вы любите ходить?

— Прекрасно, — сказала я.

Мне становилось все более неловко, и молчание Арезки усугубляло мою скованность. Я прочла от первой до последней буквы «Правда», вывешенные автобусной компанией как раз над моей головой.

Арезки кивнул. Мы вышли. Я никогда здесь не была и сказала об этом Арезки, — все-таки тема для разговора. Перейдя площадь, мы вошли в кафе «А ла шоп де лия». Буквы на вывеске были ядовито-зелеными. У стойки толпилось много мужчин. Некоторые рассматривали нас. Столики были заняты. «Идите сюда», — сказал Арезки, мы протиснулись в левый угол, где оставалось несколько свободных стульев. Арезки сел напротив меня. Соседи уставились на нас без всякого стеснения. Я увидела себя в зеркале на колонне, пошившую, растрепанную. Я подняла воротник пальто и в тот момент, когда я делала это, вдруг поняла, чем удивляю: я была с алжирцем. Понадобился чужой взгляд, выражение лица официанта, бравшего у нас заказа, чтоб я отдала себе в этом отчет. Меня охватило смятение, но Арезки глядел на меня, и я покраснела, боясь, как бы он этого не заметил.

— Что вы будете пить?

— То же, что и вы, — по-ндотски ответила я.

— Горячего чаю?

Арезки тоже чувствовал себя стесненно. Перед тем как выпить чай, я повторила дважды: «С днем рождения!»

Странно улыбувшись, он стал меня спрашивать. Я рассказала ему о нашей жизни с бабушкой, о Люсене.

— Я думал, вы моложе его.

— Потому что я маленькая? Нет, мне двадцать восемь лет.

Он поглядел на меня с удивлением.

— Вы очень любите брата...

— Да, — сказала я.

И спросила его, есть ли у него братья, мать. У него было три брата, сестра, мать была еще жива. Он описал мне ее — желтеющую, как сухой лист, разбитую, как палый плод, почти ослепшую. Я подумала о бабушке.

Чтоб отвлечься, мы заговорили о Мостафе.

— Походим немного? — спросил он.

Мы вышли. Бульвар Серюрье. Успокоительный мрак. Никто нас не видит. Озябшие люди торопятся домой.

Говорила я одна. Арезки слушал, соглашался, шagal, глядя перед собой. Несколько раз спросил, не устала ли я. Я искала, что может его заинтересовать. Рассказала о собрании на улице Гранж-о-Бель.

— Если вы станете ходить по митингам, — сказал он, — вы навиваете себе неприятности.

Я прервала его. Рассказала об Анри, о Люсене, об Индокиае, я сплетала мечты и реальность. Я не умолкала ни на минуту. Мы дошли до ворот Пантен. Он взглянул на часы.

— Вы не боитесь возвращаться одна? Восемь часов.

— Нет, конечно.

— Я вынужден вас здесь покинуть. Но я подожду, пока придет ваш автобус.

— А вы как поедете?

— Метро.

— У вас не бывает по вечерам неприятностей из-за полицейских проверок?

— Случается, — сказал он.

Мы подождали на остановке. Арезки, наверно, продор. Он держался натянуто, руки в карманах, отсутствующий взгляд.

Когда подошел автобус, он вынул руку из кармана, протянул мне.

— Спасибо, — сказал он. — Вы очень любезны. До завтра.

Я вернулась усталая, голодная, недовольная. На следующий день Арезки вел себя со мной как обычно. Я досадовала, что он не выказывает мне никаких знаков дружбы. Может, он разочаровался во мне? Однако я была рада, что в тот вечер никто не видел нас вместе.

В раздевалке я наблюдала за новенькими. В первый день они работали в сандалиях и бесцветных халатах. Но соседство мужчин возбуждало их кокетство. Одна принесла розовый халат, другая стала подбирать волосы блестящими заколками, третья надела туфли без задников, расшитые цветами.

Они приходили утром, намазанные, причесанные, и умудрялись в течение рабочего дня выкроить время, чтоб уединиться и подкраситься. Что-то в этом было большее, чем просто кокетство: самозащита, инстинктивное сопротивление, чтоб не опуститься на дно. Яркий лак чаще всего покрывал грязные ногти; бархотки пестрели в жирных волосах; пудра скрывала серый пот, выступавший на коже. Внизу, как сейчас, мою соседку по раздевалке, женщину лет тридцати пяти, некрасивую, морщинистую, вынужденную, согласно распорядку, носить выцветшую холщовую спецовку, но сохранившую и за рулем кары свои лодочки.

В той вольтере я чувствовала себя совершенно изолированной. Тем не менее я не из-

Мюстафа подошел к нам. Он что-то сказал Арезки, и оба они направились вверх по койвейеру. Как только раздался звонок, я кинулась в проход, но для вида остановилась возле Доба. Арезки опередил его на несколько метров.

— Ну что, пора пожевать?

— Да, но...

Я придумывала, что сказать.

— Я хотела поговорить с вами о брате.

— Со мной? — сказал он удивленно.

Арезки уже затерялся в потоке. Я поняла, что мне его не догнать.

Доба сжал куртку в прицепил ее на гвоздь, на котором висели гигантские южиски.

— Смотри, Мохаммед, не вздумай трогать.

На нем был граиатовый жилет ручной вязки поверх флаиеловой коричневой рубашки, обрисовывавший заметный животик.

— Так что ваш брат?

— Он не переносит краски. У него худо со здоровьем. Вы не можете попросить, чтоб его опять спустили сюда, к вам?

— Я? С этим следует обращаться к Жилу. Что я могу... Пусть поговорит с доктором или с проформом.

— Эй, — закричал проходивший мимо наладчик, — вы чем тут занимаетесь на пару?

Доба засмеялся.

— Она рассказывает мне о своем брате. Он заболел в красильном и хотел бы переменить участок.

Наладчик перестал улыбаться.

— Сам виноват. Нечего было воду мутить, когда он работал с нами. А теперь они будут его там держать, пока он сам не уйдет.

Он остановился, поднес зажигалку к погашенной сигарете.

— Я пытался ему растолковать, — подхватил Доба. — Он молодой парень, не знает жизни. Я говорил ему, не возжайся с этими ратонами, не впутывайся в их историю, делай свою работу, не препирайся с начальством, здесь не место политике. Он меня и слушать не стал, пересорился со всеми, даже с проформом. Они разругались вот здесь, в цеху, перед самым вашим появлением. Он задирается. Людям это надоело, начальству тоже. Он нежелательный элемент, слишком много спорит.

— Да, я поймал. Простите, — сказала я, — я вас задержала.

— Пустяки! Надо урезонить его, это ваша обязанность. Ну, приятного аппетита.

Я толкнула дверь раздевалки. Женщины уже расположились, мое обычное место было занято. Я подошла к работнице, которая вытянула на скамье уставшие ноги.

— Простите, вы не подвинетесь чуть-чуть.

Она отодвинула ноги и, не обращая на меня внимания, продолжала разговаривать с товаркам. Одна из них рассказывала о своем столкновении с бригадиром.

— Там, где я раньше работала, — заключила она, — было еще хуже.

У нее были приятные черты, но лицо портила густая сетка морщин у глаз.

— Зато там, по крайней мере, не было арабов, — добавила она.

Я покраснела, но никто не смотрел на меня.

Вошла Диди — девушка, напоминавшая мне Мари-Луизу. Не чертами лица, но спокойным, дерзким взглядом, походкой, сверкающими серьгами-кольцами, манерой затягивать рабочий халат широким черным лакированным ремнем, подчеркивая маленькие груди. Она попросила сигарету и ответила расспрашивавшей ее женщине, что длинный чернявый из красильного приглашал ее выпить кофе.

— Все они там чернявые, в красильном, — фыркнула одна из женщин.

Другие расхохотались. Там, наверху, почти все рабочие были негры. Девушка пожалала плечами.

— Вы что же думаете, я пойду с негром?

— Подцепила же ты алжирца.

— Да иу его, — сказала она, — я ему в конце концов дам по морде. Станет передо мной и стоит, смотрит. Сегодня все утро улыбался мне.

— От них не отцепишься.

— Но этот чернявый из красильного мне в самом деле нравится.

— Без десяти, — сказал кто-то.

— Ну что ж, — вздохнула моя соседка, — произведем ремонт.

Она открыла пудреницу. Ее старательность шла вразрез с ироническим тоном.

Соседка сделала замечание Диди, что она держит раскрытой настежь дверь раздевалки.

— Я подстерегаю моего мальчика.

Ее пестрый халат, яркое лицо, кольца в ушах оживляли хмурый сумрак раздевалки. Вся эта мншюра, которая в любом другом месте показалась бы кричащей, здесь, среди гнетущих серых стен, пробуждала жажду жизни. Я представляла себе, как притягивало мужчин каждое ее движение. Она бессознательно выставляла себя напоказ, как лакомство в витрине, но когда на нее устремлялись жадные изголодавшиеся взгляды, она уклонялась, обманывая ненасытные желания мужчин.

Я пригладила рукой волосы и вышла. Прозвонил звонок — перерыв кончился. Я побежала вместе с опаздывающими.

Стоило перешагнуть порог цеха, как иа тебя обрушивались запахи и шумы, они хватили тебя в клещи и, как бы ты ни сопротивлялся, в конце концов перемалывали тебя. В особенности шумы. Мотеры, молоты, станки, скрежещащие как пилы, и, через равные интервалы, грохот падающего железа.

Арезки посмотрел на меня один раз, да и то отсутствующим взглядом. День меркнул, остал-

ся только светлый отблеск вдоль стекол. Маленький марокканец сказал: «Еще один миновал».

Арезки был далеко. Его ящик с инструментами остался на полу в машине, которую я проверяла. Я наклонилась, стала в нем рыться, почему-то воображая, что он спрятал там запсочку для меня. Ничего не найдя, я вылезла расстроенная. Машины опустели, шум заглох. Утих грохот конвейера. Я узнала спину Арезки в толпе рабочих, уже добравшихся до двери. Он даже не попорочился со мной. Я еще надеялась встретить его на лестнице, потом у выхода, наконец — на остановке автобуса. Но так и не увидела. Вернулась я домой, чувствуя себя одинокой и несчастной.

Я поняла смысл выражений: «земля уходит из-под ног», «сохнет во рту», «сердце сжимается», — над которыми прежде смеялась. Всякий раз, когда Арезки проходил мимо меня, ограничиваясь тихим «извините», каждый раз, когда он упускал возможность остаться наедине со мной, я ощущала боль во всем теле.

Он являлся по утрам в сопровождении Мюстафы и туинсцев, которые занимались потолками. В полдень он присылал мне с Мюстафой вату, пропитанную бензином, тот паясничал, передавая тампон, но рассмешить меня ему не удавалось. Арезки работал на стороне, опережая на несколько машин ту, где находилась я. По вечерам, становясь в очередь на автобусной остановке, я охотно пропускала вперед соседей в надежде оказаться с ним рядом. Феерия моста Насональ оставляла меня равнодушной, хотя мелкий теплый дождик превращал в зеркало гускую поверхность шоссе. От малейшей ерунды слезы наворачивались мне на глаза. Хотелось плакать от заголовков газет, от собственной неприбранности, отраженной в стеклах, от пустячных неприятностей, в которые я вкладывала все свое расстройство. Ну, когда расстраиваться — убеждала я себя, когда рассудительность брала верх. Я скоро уеду. Вернусь к бабушке, к Мари, к комнате Люсьена. Теперь это моя комната, я все устрою по-своему.

Ворота Шапель. Я иду пешком к своему Дому Женщины. Дух ярмарки владеет улицам, приближение рождества преобразило ентринны. Мясники, булочники украсили свои лавки электрическими гирляндами, на стеклах огромные надписи белой краской вознепают сочельник. Все кругом лестрит, кричит, пылает. И я тронута, взволнована, возбуждена. Вспоминно: господн Скрудж, рождественские сказки Диккенса с их необъятными индейками, гигантскими пирогами. Господн Скрудж... Хорошее было время. Мне было тринадцать лет, Люсьену — шесть. Пятались мы плохо и нидеек никогда не видали. Бабушка нам их описывала. Я читала вслух ей и брату. Он слушал меня, затанув дыхание. Поднимая глаза после каждого

абзаца, я упивалась этим внимательным, сосредоточенным лицом. Мне льстило его внимание, а меж тем оно относилось вовсе не ко мне — к вымыслу. В ослеплении своем я и втянулась в роль заботливой матери Люсьена. Интересно, помнит ли он еще господина Скруджа?

Едва захлопнув за собой дверь комнаты, я валлялась на узкую кровать, и на мгновение подавленная усталость, внезапно вспыхив, прижимала меня к постели, не было сил пошевелиться. Я откладывала на завтра чистку туфель, стирку халата. Мышцы мстили за совершенное над ними насилие. Я произносила вслух «Арезки», и слезы снова наворачивались на глаза.

Мне показалось, что Арезки несколько раз посмотрел на меня. Я старалась не поднимать глаз. Мадьяр часто улыбался мне. Он теперь вполне правильно выговаривал: «спасибо, простите, здравствуйте, дерьмо», — последнее слово он приберегал для Берье.

Вдруг Арезки оказался за моей спиной. Но тут подошел Жиль, и Арезки остановился.

— Мадемуазель Элнза, — сказал Жиль, — как дела? Порядок? Скажите, что это за история с потолками, еще три разрыва не отмечены.

Жиль внушал мне уважение. Несколько секунд он глядел на меня своим ясным пронизательным взглядом.

И, наклонясь ко мне, добавил:

— В январе я добыю, чтоб вас перевели в контору.

Он поднялся на настил транспортера, оперся на калот проходившей машины и тяжело спрыгнул в проход.

Я бросила взгляд налево. Арезки созерцал свою отвертку. Я слышала стук собственного сердца. Я хотела бы отойти, будто и не жду его, но ноги не двигались. Он приблизился и быстро прокрчал мне в ухо:

— Подождете меня вечером на остановке, как раньше? Только выходите попозже, в шесть двадцать, двадцать пять. Хорошо?

И тут же очень громко добавил:

— У машины, которая сейчас подойдет, порван пластик над зеркалом.

Машина прошла, приблизилась следующая. Мадьяр, вышедший из нее, взглянул на меня с недоумением: я стояла, как столб. Арезки, не дожидаясь ответа, вернулся к туинсцам, натягивавшим пластик на потолок.

Чтоб растянуть время, я несколько раз помыла руки. Женщины убежали, даже не приводя в порядок лицо. Их ждала новая работа, навондть красоту для нее не было никакой нужды. Самые молодые, те, у кого было назначено свидание, производили свой «ремонт». Это и в самом деле напоминало ремонт. Девять часов завода разрушали самые гармоничные лица.

— Поскорей бы на пенсию... — вздохнула соседка, застегивая пальто.

Я запротестовала.

— А что, — сказала она, — разве уход на пенсию не начало сладкой жизни?

— Это будет конец вашей жизни.

— Ну и пусть. А сейчас что она такое, моя жизнь? Вечно бежишь, торопишься, работаешь. У меня, наконец, будет время, я смогу пожить в свое удовольствие.

Часы у ворот Шуази показывали половину. Ареки уже стоял в очереди, но как-то сбоку. Я направилась к нему. Он сделал мне знак. Я пошла и встала вслед за ним. Появился Люсьен. Он меня не заметил, а я сделала вид, что не вижу его. Он закурил, и огонек осветил костистый высушенный профиль, почерневший от щетинки.

Мы попали в один автобус. Выйти из очереди было невозможно, он заметил бы меня. Я стала, не оборачиваясь, пробираться вперед. Ареки не обращал на меня внимания. У Венсенских ворот, где сошло много народу, я оказалась рядом с ним. Он спросил, где я хочу выйти, чтоб мы могли немного пройтись. Я сказала: «У Монтрейских ворот». Я посмотрела в предыдущие вечера уллицу, кишашую народом, где, как мне казалось, мы могли легко затеряться.

Он вышел, я следом за ним. Видел ли нас Люсьен? Эта мысль смущала меня. Мы перешли на другую сторону, и Ареки, разглядывая два соседних кафе, спросил:

— Выпьем горячего чаю?

— Если хотите.

Было битком набито, шумно. Казалось, все диванчики заняты. Ареки прошел во второй зал. Я подождала у стойки. Некоторые посетители разглядывали меня. Я чувствовала на себе их взгляды и догадывалась, что они думают. Показался Ареки. Меня вдруг как громом поразило: боже, до какой степени он араб! Внешность некоторых рабочих в цеху — светлая кожа, каштановые волосы — допускала сомнения. В тот вечер на Ареки была не рубашка, а черный или коричневый свитер, подчеркивавший его смуглость. Меня охватило смутнение. Я мечтала оказаться на улице, в толпе.

— Мест нет. Но ничего, выпьем у стойки.

Идите сюда.

Он подтолкнул меня в уголок.

— Чаю?

— Да.

— И я тоже.

Официант торопливо обслужил нас. Я дула на чашку, чтоб проглотить поскорее свой чай. В зеркале, за кофейной машиной, я заметила мужчину в форменной фуражке служащего метро, который изучал меня. Он обернулся к своему соседу, складывавшему газету.

— А я, — сказал он иррационально громко, — я бы саданул атомной бомбой по Алжиру.

Он снова поглядел на меня с удовлетворенным видом. Сосед с ним не согласился. Тот проповедовал:

— ...отправить бы всех этих ратонов, живущих во Франции, в лагерь.

Я испугалась, что Ареки не выдержит, и искося взглянула на него. Он сохранял спокойствие, — внешне, по крайней мере.

— Говорят, нас разобьют на бригады, — сказал он мне.

Голос его был тверд. Он получил эти сведения от Жили и подробно растолковал мне все плюсы и минусы. Я успокоилась. Я стала спрашивать его, но прислушивалась не к его ответам, а к тому, о чем говорили люди вокруг нас. У меня создалось впечатление, что, отвечая мне, он тоже следил за разговорами.

Когда я шла к выходу, человек, который предлагал бросить атомную бомбу, сделал шаг ко мне. К счастью, Ареки был впереди. Он ничего не заметил. Я молча отстранилась и догнала Ареки на улице с ощущением, что избежала скандала.

Рю-д'Аврон, мерцающая, убежала в бесконечность. На несколько минут нас поглотили втроем.

— Ну, — спросил он иронически, — как поживаете?

— Хорошо.

— У вас последние дни был несчастный вид. Вы не болели?

Смейся, смейся, Ареки. Ты здесь. Ты рядом. И на этой праздничной улице мне хочется рассказать тебе о господине Скрудке, об идиотках. Прекрасные сказочные мгновения. Хочется говорить только легкие, невесомые слова, вызывающие улыбку.

— Вы должны извинить меня, я был занят последние дни. Ко мне приехали родственники.

— Я думала, вы сердитесь. Вы со мной не здоровались, не прощались.

Он протестует. Он кивал мне каждое утро. И разве это так важно? Нужно бы, сказал он, как-нибудь назначить определенное место, где мы могли бы встречаться.

Я соглашаюсь. Магазины попадают все реже. Рю-д'Аврон мерцает все глуше, там, впереди нас, одна темная, фонарей почти нет. Переходим на другую сторону. Ареки держит меня под руку, потом его рука проскальзывает за моей спиной и ложится мне на плечо.

— Я очень занят эти дни. Но в понедельник, например... Ваш брат вошел в автобус вслед за нами. Вы видели его?

— Видела.

— Элиза, — сказал он, — может, перейдем на «ты».

Я отвечаю, что попробую, но, боюсь, не смогу.

Единственный мужчина, с которым я на «ты», это — Люсьен.

— Ну вот, — сказал он насмешливо, — сейчас она опять будет рассказывать мне о брате...

Все нашу первую прогулку, замечает он, я ни о чем, кроме Люсьена, не говорила.

— Я даже задумался, в самом ли деле ты его сестра. Где мы можем встретиться в следующий понедельник?

— Но я не знаю Парижа.

— Этот район не годится, — заявляет он.

— Решайте сами, скажете мне в понедельник утром.

— Где? На конвейере? При всех?

— А почему бы нет? Другие же разговаривают друг с другом. Жиль разговаривает со мной, Доба...

— Ты забываешь, что я алжирец.

— Да, я забываю.

Арезки стискивает меня, трясет.

— Повтори. Это правда? Ты забываешь об этом?

Он пристально вглядывается в меня.

— Да, вы отлично знаете. Я не могу быть расисткой.

— Это-то я знаю. Но я думал, что тебя, как Люсьена и ему подобных, напротив, притягивает экзотика, тайна. Год тому назад...

Мы снова пускаемся в путь, он опять обнимает меня за плечо.

— ...я познакомился с одной женщиной. Я ее... да, я ее любил. Она каждый день читала в своей газете фельетон в картинках под названием «Страсть мавра». Он ей запал в голову. Тут еще примешались воспоминания о ее отце, который во время войны с немцами был подполчи́ком.

Он замолкает. Мы подходим к людному месту, и рука Арезки меня стискает. Я боюсь толпы. На двери газетного киоска вечерний выпуск возвещает: «Организация ФЛН в Париже обезглавлена».

Арезки прочел. Веки его дрогнули.

— Любят ли когда-нибудь из чистых побуждений? — сказала я сухо. — Приходится удовлетворяться...

— Это не для меня, — отрезал он.

Молча доходим до входа в метро.

— Нужно расставаться. Поздно.

Я сдерживаю чуть не сорвавшееся «уже?».

— Да, вы, должно быть, устали.

— Устал? Нет.

Это предположение ему не по вкусу.

— Имей в виду, — голос у него ласковый, — вот уже три дня я не ложусь из-за тебя.

И, видя мое удивление, поправляется:

— Нет, надо сказать: не сплю. Я хотел видеть тебя, но не мог. Я не хочу говорить с тобой на людях. Я подумывал передать тебе через брата, но решил обождать.

Прошла полицейская машина, громко гудя сиреной. Арезки отпустил мою руку. Машина не останавлилась.

— Холодно. Пошли, пора возвращаться.

Он объяснил мне, где пересечь.

— Где вы живете?

Он ответил не сразу, потом сказал:

— Неподалеку от станции Жорес.

Я пожалела о своем вопросе. Я знаю, он солгал. Мы входим в вагон, садимся друг против друга. Он мне говорит только:

— Сойди здесь, перейди на линию Доффи, — и крепко пожимает руку, которую я ему протягиваю.

Следующее воскресенье я провела в кровати.

Я долго спала. Где-то я вычитала, что сон делает женщину красивой.

В понедельник утром Мюстафа и Мадьяр опоздали. Мюстафа пришел первым и, подойдя к Бернье, подстерегавшему его, отдал честь по-военному. Весь гнев Бернье обрушился на Мадьяра. Но Мадьяр, державшийся все более независимо, отделился от него и залез в машину. Увидел меня и закричал: «О-ля-ля!», показывая на Бернье. Арезки работал довольно далеко и еще не поздоровался со мной. Пусть остановится конвейер! Мне необходимо посидеть, подумать спокойно. Но конвейер не останавливается, и мысли наплывают в такт движениям. Синкопированные страхи. Мелькают силуэты Арезки, я ускользаю. Мне приятно, что мы с ним гребцы на одной галере.

Когда мы впервые в это утро оказались вместе, к нам подошел Мюстафа. Арезки отослал его под каким-то предлогом.

— Сегодня я не могу, — сказал он мне. — Отложим до другого вечера, да?

Маленький марокканец грубо оттолкнул меня. За ним стоял Жиль. Вернулся Мюстафа с ящиком гвоздей, опрокинул его перед носом Жили и, не подумав собрать их, пристроился возле Арезки.

Тут в машину вошел наладчик.

— Это он, — сказал он, указывая на обернувшегося Мюстафу. — Я наблюдал за ним. Прибывая, он тянет матерью, она рвется.

Жиль потеснил Мюстафу и отобрал у него молоток. Он внимательно осмотрел реборду, потолок и стал прибавить уплотнитель. Мюстафа ждал, наморщив нос и ругаясь по-арабски. Жиль знаком подозвал наладчика:

— Ему придется натягивать матерью; чтоб она вошла под реборду, материя рвется... Вы кроите в безраз... Оставляйте на три-четыре сантиметра больше.

Мюстафа поднялся, насвистывая.

Жиль вылез, за ним наладчик.

— Ну так что мне делать? — закричал Мюстафа. — Продолжать или нет?

— Продолжай и старайся тянуть не слишком сильно.

И Жиль ушел.

Я была одна в машине. Арезки вылез несколькими минутами раньше. Я вышла из машины и обогнула ее. Мадьяр устанавливал задние огни. Коварная усталость пилот прошлась по мускулам икр. Я оперлась правой ру-